Казнь Махамбета -6/ продолжение

Category: Kitapcy,Romanlar
написано kitapcy | 24 января, 2025
Казнь Махамбета -6/ продолжение ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

ТОБЕТ

Со смертью – оно всегда так! Вот ведь знаешь, что придет она, обязательно придет, никуда не деться – ни тебе от нее, ни ей от нас всех, кто-то же должен отпустить нас в последнее, вечное кочевье! А все равно, как нагрянет – так удивляешься! Особенно – если своя. Хотя и с чужой – не лучше!

Смерти хана Бокея ждали, готовились к ней, а как случилось, так будто и не было всех этих разговоров по юртам в кочевьях от Оренбурга и до Сарайчика, словно не эти же люди, мужчины, женщины, даже дети малые, обсуждали – как жить будем, без хана-то? Каким он будет правителем, наследник, Черный Жангир, Жангир-Керей Хан?

Мне, последнему шаману Бокеевской Орды, суфию-недоучке, избравшему веру предков и духов Великой Степи, предстояло тайно проводить первого хана нашей земли в его последний путь. Тайно, потому что официально и явно это будут делать служители пустынного бога, которого они выдают за единственного Создателя… будто для самого Создателя числа имеют хоть какое-то значение, когда речь идет о Бесконечности!

Бесконечно преданная своей единственной любви, несмотря на то, что сам хан Бокей последние годы всю свою любовь тратил на молодых наложниц и младших жен – токал, меня тайно вызвала первая, старшая жена хана, женщина, родившая Бокею четверых детей, из которых не выжил ни один, сопровождавшая его на жизненном пути с самого начала, когда он был всего лишь одним из многих старшин кочевий. Более сильный, более хитрый, и

самый уверенный в себе из всех них, он сумел создать свою Орду, свое ханство, заручиться поддержкой ресейского царя. Она же была истинной опорой для шанырака его юрты, завлекшей всю степь Младшего Жуза в свои мягкие, будто войлочные стены, внутри которых – мир и процветание, за пределами же – войны и интриги. Она, единственная, кто помнит заветы предков, и не забывает об уважении к Небу-Тенгри, сочла нужным дать мне знать… хотя я и так знал. Знал, ждал, и смерти, и этого приглашения.

Я – как пес-тобет, у которого вместо лая – хриплый рык, однако он слышен тем, кому надо: овцы послушно сбегаются в отару со всех степных просторов, табуны норовистых коней-тулпаров меняют направление своего бега от еле слышного звука его, и даже горделивый нар послушно бредет, ведомый верным рабом-кулом степных пастухов, псом непризнанного рода, но признанной верности… Всем прочим же достается лишь последний взгляд в пасть, полную зубов, прежде чем челюсти сомкнутся на горле врага хозяина. Даже если хозяин бьет и не кормит – тобет всегда найдет себе пропитание, научившийся есть всякую дрянь, и все равно сохранит в своем сердце преданность. Хан перед смертью изгнал меня, велел никогда не появляться в его кочевье, но не он это говорил – хриплым голосом умирающего старика вещали жрецы пустынного бога, мечтающие захватить нашу Степь. Они уговорили его сделать это, как последнее, предсмертное свидетельство преданности их богу в обмен на обещание рая, полного молодых гурий-токал. Можно прогнать тобета, но когда волки нападут на стадо – изгнанный, прятавшийся за холмами и барханами, пес-раб не вспомнит обид, и ринется в бой за добро хозяина, даже если этот бой будет для него последним. Все, что меня отличает от этого пса – так это то, что обиды я помню. Но все равно – еду. Так велит адат-обычай. Хан Степи должен уйти в последнее, вечное кочевье, по степным законам!

Три дня! У меня было три дня, чтобы добраться до ханского кочевья из Гурьева, где меня застал ворон, донесший мольбу

вдовы. Бросил все – и незавершенные переговоры с новым священником, присланным из Уральска управляться делами Собора Николая Чудотворца, и со старостой молельного дома казаков, что почитали своего бога по старым обрядам, и долгожданную встречу со старым другом, отцом-настоятелем Тайного Гурьевского Монастыря, где христиане вершили службу своему богу без распрей и деления на старых и новых. Последний действительно был тайным, о существовании его в самой Ресеи знал не каждый высший церковный чин, а уж у нас-то в Степи… ну, кому надо, тот и знал. Вот, я, к слову сказать, но мне и вправду о таких вещах знать надобно. Шаман, понимаешь, должность обязывает!

А сейчас моя должность обязывала меня спешить в ханскую ставку, где, судя по прошедшему времени, уже успели обмыть покойника, и на самом деле нет у меня этих трех дней до того, как тело предадут земле, потому что слишком многое надо успеть сделать, чтобы аруак создателя Бокейской Орды и с того света мог приглядывать за своим народом, заботиться о нем, помогать… В старые времена достаточно было воспользоваться курганами – они открывали нам, шаманам, короткие пути через просторы Степи. Но нет больше тех курганов, новая вера ослабила их, намоленные за века камни обратились в песок, песок – в пыль, а пыль та со всей своей силой по степи растеклась. Удержишь ли воду в горсти, сохранишь ли силу удара в растопыренной кисти, когда потребна вся мощь кулака? Трудно быть шаманом в новые времена. Приходиться обращаться к тем, кто смотрит на тебя, тобета, как на собаку без хозяина!

До Сарайшыка полдня пути, и ходжа На Сим, хоть и посмотрел недовольно, но не отказал, помог пройти через «карман», открыл короткий путь прямо к озеру, что за ханской ставкой, так что приятно было видеть изумленные лица служителей пустынного бога, когда я вошел в юрту покойного, где его уже оборачивали в акырет-саван. Да все приятное там и закончилось, прости меня Тенгри за такие слова! Я опоздал!

Не знаю откуда, не могу понять, с какой стати служители

пустынного бога узнали, почему решили торопиться, и прочитать молитву «Йа Син» раньше обычного выноса тела для прощания, но аруах Бокея был окончательно и безнадежно заперт в своем теле. Теперь уже никогда он не отправится в вечное кочевье, не сможет покинуть свои бренные останки, и будет разрушаться вместе с ними, истончаясь, развоплощаясь в бессильного, не помнящего ни себя, ни близких, дорогих себе при жизни людей, землю, мир… И, когда кости его рассыплются прахом, смешавшись с землей, душа, когда-то могучая и сильная, боровшаяся, чтобы созидать, уйдет легким туманом, растворится в сгущающейся туче сущности и мощи пустынного бога, все больше и больше покрывающего собой небо. Наше Небо, между прочим, к которому мы возносим молитвы, взлетающие, подобно птицам, к слуху Великого Тенгри! Но не пройдет эту тучу чужая птица, не пролетит сквозь ее плотные, густые клубы, полные гневных и мстительных молний, ни одно создание, не знакомое пустынному богу, не выглядящая и не звучащая его языком. Бог семитской пустыни заберет силу и душу степного кочевника в обмен на обещания возрождения в судный день, и никто не задумается — чем возрождается трава, съеденная лошадью, лошадь, сожранная волком, волк, источенный червями? В этом ли видит нашу, человеческую сущность пустынный бог, если даже родного сына обрек на муки ради спасения людского племени? Я все больше боюсь его, рожденного в чужой степи, обращающегося к нашим страхам и слабостям, защищающего сильных и толкающих тех, кто и так падает, но громко утверждающего обратное. Чистая, незамутненная желанием власти правда Тенгри становится бессильной в вопросах интриги, когда дело касается потакания человеческим страстям. Пустынный бог — создание людей, воплощение их стремления все упростить и подчинить, сам упрощает и подчиняет теперь своих создателей, набираясь сил… для чего? Чтобы бросить однажды вызов самому Тенгри? Вот, и еще один степной жигит, пусть при жизни отрицавший путь меча, но истинный воин и созидатель, станет безвольным солдатом в его армии.

Что я мог сделать теперь для него? Ничего не мог — я не

Тенгри, я шаман-недоучка, слабая тень могучих предков, своей мощью сломавших хребет нам, последующим поколениям, так и не унаследовавшим ни их силы, ни гордости, одна только глупая, бессмысленная ярость, да собачья преданность своим хозяевам, что новым, что старым… Я безнадежно опоздал для своего хана, но долг мой был еще не заплачен, и, хотя бы сыну его и наследнику я еще мог помочь. Ради нашего народа, ради будущего, призрак которого все больше растворялся в черной туче, пришедшей к нам из семитских пустынь.

Вышел из шатра покойного, мельком взглянул, как положено, на копья с белыми флагами, загрустил: Степь послала ветер, равный мартовским бесконакам-гостям. Он развевал траурные полотна знамен, в ожидании, когда аруах хана Бокеевской Орды, оседлав своего любимого коня, сольется с ним, и выйдет в свое последнее, вечное кочевье, становясь попеременно воздухом и водой, землей и словом, памятью, песней, легендой, уроком для последующих поколений. Ничего этого уже не будет. Хан взят в плен, порабощен, и уйдет мамлюком в чужой край, воевать за чужую землю. Но его сын должен увидеть, должен понять, хотя бы на миг, и тогда будет надежда!

Жангир-Керея я нашел в окружении женщин. Он о чем-то шептался со своей матерью, и словно ждал меня – так странно посмотрел, когда я вошел, переступив правой ногой есик-порог юрты для гостей предстоящих похоронных обрядов. Ну, да, ждал, судя по кивку женщины, которая и была его матерью, той что вызвала меня. Она меня – вызвала, а я все равно опоздал, не учел хитрости мулл. Не первая это схватка, которую я проигрываю им у нее на глазах, и наверняка ведь не последняя, но она продолжает верить, держится за эту веру, и потому все еще зовет меня. А вот сын ее, кажется, еще не определился с тем, как ему относиться ко мне. Взгляд настороженный, смотрит опасливо, ждет, кажется, подвоха. Надо начать с того, что ему будет понятно.

– Терпения вам, близкие усопшего! Пусть радостные события чаще собирают нас в твоем кочевье, Жангир-Керей! Волей Неба-Тенгри

пришел, должен совершить обряд положенный, чтобы духи предков, аруахи, были довольны тобой, помогали и покровительствовали твоему роду, твоему аулу, твоей юрте. Вели привести коня, что последним носил на себе отца твоего, хана нашего, Бокея, вели подготовить к последнему пути, зарежь его, чтобы дух верного скакуна отправился с ханом, а плоть стала кудай-тамак! — тут я слегка запнулся, потому как понял: нельзя было хотеть от этого холеного, выросшего в окружении орысов, молодого парня, чтобы он сам, лично перерезал глотку отцовской лошади, чтобы отправить ее в последнее кочевье со своим хозяином. Не сможет!

И потребовав от него исполнить древний обряд, я сделал только хуже, отдалился от желаемого, и отдалил наследника хана Бокея от того, чтобы он уважал древние обычаи, следовал им. По глазам вижу — сейчас откажется! Но мать схватила его за запястье, сжала, и вдруг он, неожиданно для меня, кивнул согласно. Срывающимся голосом принялся отдавать распоряжения, в юрте наступила суматоха, а мне все казалось, будто я только что совершил вторую, еще большую ошибку.

Как подтверждение — неловкий, неглубокий надрез на горле связанного, уложенного коня, могучего тулпара, последним носившего хана на своей широкой спине. Не сказать, что конь этот был из самых быстрых в табунах Бокея, но покойный любил его за смирный норов, и силу — не всякий скакун-победитель скачек-байге выдержал бы вес тучневшего с годами правителя Бокеевской Орды. Этот же, спокойный, без капризов, достаточно высокий, чтобы тучный хан не смотрелся на нем смешно, крупный, с большой головой, и черной, как вороново крыло, масти, умело носил на себе своего владетельного седока со всем причитающимся достоинством. Но никакой смирный норов не выдержит боли от неумелой стали, и конь, верно служивший отцу, захрипел, забился под ножом сына, пуская кровавую пену изо рта, ноздрей, неглубокой, но смертельно болезненной раны.

— Никогда больше! — яростно прошептал Жангир-Керей, так, что даже сквозь хрип умирающего животного было слышно. — Никогда больше!

Шепот превратился чуть ли не в крик, когда воспитанник астраханского губернатора и сын хана Бокеевской Орды со всей силы повторно полоснул по горлу коня, и кровь, мощной струей вырвавшаяся из вскрытой артерии, ударила в лицо, залила глаза, попала в рот, и, спадая, успела залить черным, горячими пахучим потоком парадные одежды ханского наследника. Подбежали, подоспели жигиты из младших братьев, взяли нож из ослабевшей руки, ловко, со знанием дела, довели до конца обряд, быстро отделив голову лошади от тела, и уже в несколько рук принявшись разделывать конскую тушу, так, что вот уже и внутренности только что зарезанного животного передают на жаркое-куырдак, а Жангир-Керей все еще стоял, опустив руки, залитый кровью, быстро высыхающей, и уже больно стягивающей кожу на лице, и только губы продолжали шептать, как молитву: «Никогда больше!».

Чего он не будет никогда больше? Брать в руки нож? Резать коня? Или… слушаться шамана?! – понимание настигло меня слишком поздно, как и все, что делалось со мной в этот день. Только что я самым действенным способом отвратил наследника нашего правителя от понимания обычаев предков. Только что я уничтожил степняка, и место его займет тот, кого воспитали орысы. Тот, кто всегда будет считать наши обычаи – кровавыми, а свой собственный народ – варварами…

+ + +

– Я потерял его, мой мальчик, и кто вернет нам нашего хана, я уже не знаю…, – сказал старик, и казалось – вот сейчас заплачет, и слеза выскользнет откуда-то из складок лучиков в уголках узких глаз, побежит по арыкам бесчисленных морщин на покрытом пылью лице.

Я смотрел на старого шамана, и мне было жаль его. Но еще больше мне было жалко ханского наследника, каким я его представил сейчас по рассказам шамана, явившегося в медресе, чтобы поведать мне – мне, вчерашнему мальчишке! – случившееся на похоронах хана Бокея. Он пришел сегодня, на седьмой день

после похорон, к воротам нашего медресе, и выглядел так, будто проскакал по степи всю ночь. А глаза у него такие, словно он не с ханских похорон явился, но со своих собственных. Ходжа На Сим удивился, спросил: — Разве не должен ты быть там, на седьмой день твой Тенгри требует свершения обрядов…

— Меня прогнали! — коротко бросил шаман в ответ, и тяжело спустившись с коня, устало, чуть ли не волоча ноги, направился к арыку, наклонился, встал на колени, упершись ладонями в землю, и опустив голову к воде, принялся пить, шумно, будто и впрямь — собака-тобет. Напившись, поднял голову, встретился со мной глазами, прохрипел:

— Мальчик… я должен с тобой поговорить… мне нужна твоя помощь…

И вот, он рассказал мне все. Втроем мы сидели на полу гостевой кельи, но говорил шаман будто только со мной. Ходжа На Сим, сидевший все это время молча рядом, только хмурился, и, хотя старый шаман не сказал ни слова в его адрес, вид у него был отчего-то виноватый. Будто прочитав вопрос в моем взгляде, буркнул:

— Когда он пришел сюда в день смерти хана, то просил отпустить тебя с ним на похороны… Я — не позволил.

Я кивнул. Все правильно. Сын Утемиса должен был быть на этих похоронах. Ученик Ак Медресе нашел бы верные слова для ханского наследника. Но меня не было рядом со старым шаманом. Меня даже не поставили в известность.

— Почему? — задавая вопрос своему Учителю, я чувствовал, как в моей груди медленно поднимается давно позабытое чувство — гнев.

Я сердился на человека, поправшего мое право степняка. Мой долг родича. Я сердился на чужака, решавшего за меня и вместо меня, и я уже не видел в старом суфии своего ходжу-наставника. Передо мной сейчас сидел тайчи-китаец, хитрый интриган, заполучивший власть надо мной, и эту власть использовавший

против моего племени, против моих обычаев. Ходжа почувствовал это, словно ощутил мой гнев, и мудрость изменила ему. Он заговорил – там, где следовало молчать, дать моему гневу остыть, снова увидеть в нем наставника. Он попытался оправдаться, и я, чья кровь всегда признавала силу превыше мудрости, потерял в него веру:

– Ты еще не готов… тебе нельзя сейчас покидать медресе… слишком много тропинок в будущем ведут туда, где тебя ждет злая судьба… твоих знаний недостаточно…

Ходжа говорил сбивчиво, взгляд его уходил от моего встречного, требовательного, упирался в пол, в стены, но не хотел встречаться с моим, и я решился.

– Я ухожу!

Ходжа замолк, потрясенный, и наконец, поднял глаза, посмотрел в мои, и я увидел, что он плачет. Эти слезы еще больше разозлили меня. Мой наставник не должен быть слабым! Даже если знает меня так хорошо, что почти читает мои мысли.

– Ты обвиняешь меня в слабости, мальчик, но разве сам ты сейчас силен? Разве народ твой – силен? Разве обряды и обычаи твои, что якорем тянут в прошлое, важнее знаний, что поведут тебя в будущее?

– Без прошлого нет будущего, ты сам говорил! – я кричал, всем своим голосом и видом я хамил своему наставнику, которого еще сегодня утром почитал превыше отца, а сейчас…

– Ты сам, твой народ еще долго будете страдать от того, что превратите свое прошлое в единственное достояние, с которым будете стремится в будущее…

– Ты пытался решать за меня! – перебил я учителя. Он становился в моих глазах все более жалким, все менее сильным…

– Я делал то, что должен делать учитель. Отринув над собой-нынешним власть наставника, ты отрицаешь знания, которые мог

бы получить. Ты думаешь, что уходишь из-под моей власти, но на самом деле ты уходишь от знаний собственных под власть тех, кто будет знать больше тебя, и всегда будет этим пользоваться. Народ, перед которым твой хан склонил голову, смог в свое время отринуть старое, чтобы научиться… теперь у них есть ружья и армия, пушки и государство, которое решает судьбу земель твоего народа, ты же злишься на меня за то, что я заботился о твоих уроках…

— Время твоих уроков прошло, На Сим! Волку не нужен урок охоты! — я открыто издевался над наставником, над его слабостью, его слезами, но тут я понял: он больше не плачет. Грустная улыбка коснулась губ старого тайчи:

— Ты считаешь себя волком? — он покачал головой. — Нет, ты будешь псом. Тобетом-сторожем на службе у тех, кто умеет приручать волков, и превращать волчат в своих слуг. Даже сражаясь за свой народ, ты никогда не укусишь руку своих истинных хозяев. В последний раз я говорю тебе, как твой наставник — оставайся.

Перемена, случившаяся на моих глазах, прогнала весь мой гнев. Я снова видел учителя, ходжу На Сима, человека, пронесшего меня на руках сквозь складки в ветхих одеяниях Мира, но мое упрямство связало язык, сковало сердце, сказанные учителю злые слова жгли горло и нёбо, и я в ответ, вместо того, чтобы согласно кивнуть, замотал головой. Решение, каким бы оно ни было, принято, и я не стану ничего менять. Потому что… потому что не смогу забыть слез на глазах учителя. Не смогу забыть своей вины перед ним. Вины, которую, как мне тогда казалось, я никогда не смог бы исправить.

— Я верну! Я все исправлю! — прошептал я, обернувшись к шаману.

Старик кивнул согласно:

— Да, только ты сможешь, мальчик. Вернуть нашему народу хана, исправить мои ошибки… только ты…

Ходжа встал, направился к выходу, обернулся через плечо. На меня не смотрел — только на шамана.

— Заставить платить за ошибки прошлого — ценой будущего, лишать свое собственное будущее его судьбы, потому что сам не можешь исправить то, что испортил — это ты называешь заботой о своем народе, служитель бога-Неба? Ради этого ты уходил когда-то от нас, чтобы сегодня заставить этого мальчика повторить свои ошибки? Уходи же сейчас, и больше не являйся. Дорога в нашу школу для тебя отныне закрыта, язычник! Аллах велик и всепрощающ, но не все его слуги таковы. Я — не такой. И этого мальчика, и его злую судьбу, я тебе никогда не прощу, пес!

Сказал — и вышел. Я посмотрел на шамана. Старик сидел на полу, наклонив голову. Сейчас и вправду он был похож на побитую собаку.

+ + +

Кто ни разу не седлал
в путь походного коня,
сильной дланью не сжимал
древко острого копья,
кто без снеди и без сна
не пытался мир познать,
не протёр седлом потник,
хоть и видел, но не вник
в то, что пот течет зимой,
хладным может быть и зной,
изголовьем — металл,
кто врага в лицо не знал,
не узрел, что им рожденный
сын взрослеет отчужденно,
кто на ложе, даже раз бы,
не купался в женской ласке,
после голода и жажды
не объелся б жирным мясом,
не облит был, хоть однажды,

ложью, подлостью и грязью,
кто не знал любви и боя,
всех лишений и мучений,
разве может быть героем
или, просто, – быть мужчиной?!

Махамбет Утемисулы – «Гимн мужеству»

+ + +

Конец книги первой.
Кой жасы – Время агнца. Romanlar